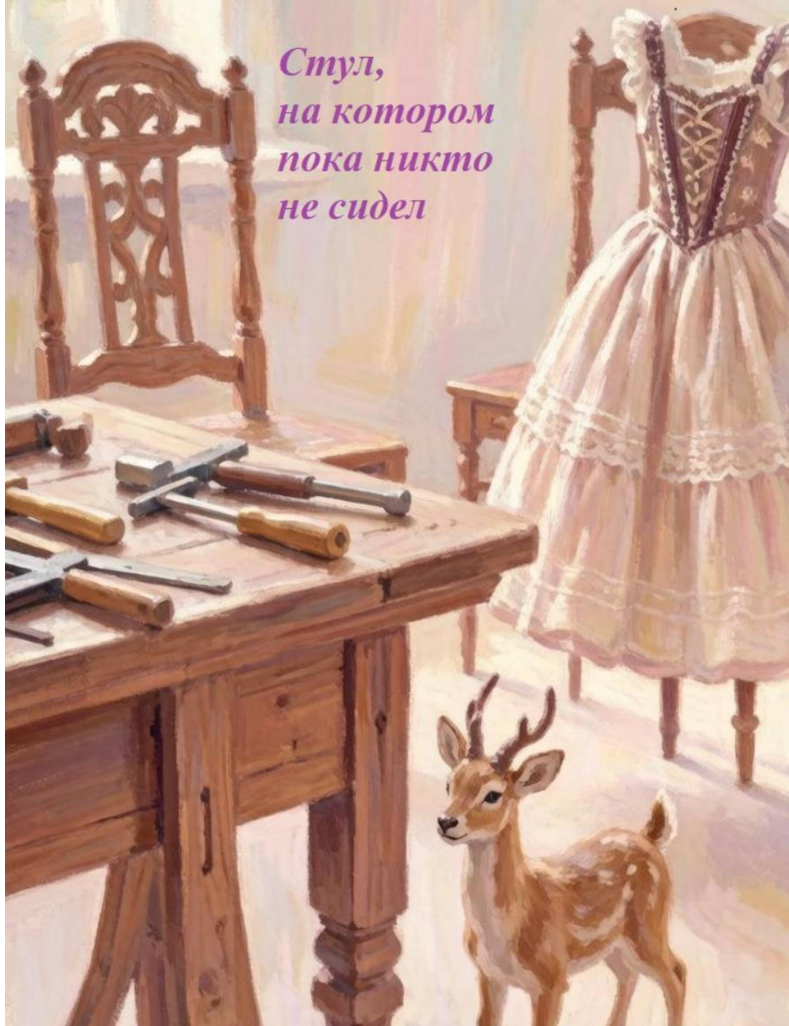


Сергей Ребров

*Стул,
на котором
пока никто
не сидел*



Сергей Ребров

Стул, на котором пока никто не сидит

<https://litres.ru/74353248>

SelfPub; 2026

Аннотация

Юнна, владелица быути-кафе «Блеск», пришла за стульями. Захар, тихий мастер с руками для дерева, хотел просто выполнить заказ. Но она оставила на верстаке след от помады, а он, впервые за долгое время, вспомнил, что дышит по-другому.

Они как лак и рубанок: несовместимые, но вдруг идеальные вместе.

А параллельно его дочери осваивают новый город: Настя, с голосом, от которого дрожат рамы, случайно попадает в театр оперетт и влюбляется в хориста, у которого всё не так. Илани, с умом острее ножовки, требует в школе «парты с душой» и устраивает бунт против серых стен и скучных расписаний.

Это история о переезде, о любви, которая начинается не с признания, а с вопроса: «Ты правда сделаешь ножки с изгибом, как у каблука?»

Юмор, неловкость, первый снег и запах лака смешиваются с древесным теплом.

Здесь красота не только в макияже.

Она в стуле, сделанном с мыслью. В девочке, которая поёт.

И в том, как двое, которые не подходят друг другу по шаблону,
вдруг понимают: мы — эксклюзив.

Сергей Ребров

Стул, на котором пока никто не сидит

Глава 1

«Последняя ночь под старой крышей»

Дождь не льёт, он шепчет. Шуршит по старой, когда-то зелёной, теперь выцветшей до грязно-серого, железной крыше мастерской. Будто о чём-то просит, настойчиво, но тихо, как человек, который боится быть услышанным и всё же не может молчать. Мелкие капли, словно слёзы, проникают в щели между листами, оставляя на цементном полу тёмные, рваные пятна. Они растекаются, как акварельные разводы, напоминая карты забытых земель, по которым никто уже не ходит, но они всё ещё хранят следы прежних дорог.

Воздух в мастерской густой, плотный, будто его можно резать стамеской, пропитанный ароматами, сплетающимися в единый, неповторимый парфюм этого места: терпкий дух свежей сосны, острый, чуть сладковатый запах льняного масла, и едва уловимый, но упрямый аромат давно остывшего чая в тонкой, эмалированной кружке, стоящей на верстаке. Кружка стоит так, словно её поставили всего на минуту, что-

бы освободить руки, и вот-вот кто-то вернётся и сделает долгожданный глоток. Но никто не вернётся. Это уже не пауза, а тихое прощание.

Там, где заканчивается тень от старой, покосившейся полки с инструментами, мерцает уголок старого светильника. Его абажур из зелёного стекла отбрасывает на доски неровные, дрожащие пятна света, будто воспоминания — то ярче, то почти стираясь, как будто сам светильник вздыхает, прощаясь с этим местом. Захар всё собирается починить его, заменить перегоревшую лампочку, но, как всегда, откладывает. А «потом» теперь — это уже другой город, другая мастерская, другие заботы.

Столяр стоит на коленях перед разобранным верстаком. Его куртка из грубой холстины, покрытая пятнами масла и опилками, словно расшитая жизнью: тут — след от свежей смолы, там — серая пыль от дуба, а вот это тёмное пятно — от лака, который не взялся, и пришлось переделывать. Каждый след и царапина похожи на строчку в дневнике, который он никогда не вёл, но бережно хранил в своей памяти. Захар не торопится. Каждая перебираемая им доска напоминает письмо, которое невозможно сжечь, но и бросить нельзя. Он ощупывает их медленно, с уважением, будто не дерево чувствует под пальцами, а чью-то судьбу. Проводит кончиками пальцев по кромке, проверяя, нет ли сколов, не повело ли от сырости. И вдруг замирает, касаясь пальцем зарубки на краю стола — детской. Илани сделала её, когда ей было

шесть, пытаюсь помочь: «Папа, смотри, я тоже могу рубить!» Рубила, конечно, маникюрными щипцами, потому что настоящие инструменты были слишком тяжёлые для маленьких ручек. Мужчина тогда рассмеялся, обнял дочку, сказал, что у неё золотые руки, даже если они держат щипцы. А теперь... теперь просто гладит эту зарубку, будто хочет вернуть тот день хоть на секунду, вдохнуть запах её детского смеха.

— Ну вот, Захарь, — говорит Арсений, вгоняя в ящик последний гвоздь. Шляпка тонет в дереве почти беззвучно: щёлк. И этот тихий звук в опустевшей мастерской громче любого удара молотка, он означает «готово». — Последняя ночёвка. Завтра грузовик, трасса, и новый город, где, по твоим словам, «люди наконец оценят резную ножку без дешёвого ламината». Хотя, честно? Половина не поймёт разницы.

Захар не отвечает. Ему не хотелось ни спорить, ни соглашаться, лишь бы продлить эту минуту: стоять на коленях, касаясь пальцами древесины, которая помнит его ладони и создана им самим.

— А вдруг не оценят? — тихо спрашивает он, не поднимая глаз. Голос звучит непривычно уязвимо, будто он не о мебели говорит, а о чём-то гораздо более личном. — Вдруг опять будет так, как в прошлой мастерской? «Очень красиво... но дорого. А смысл?»

Арсений откладывает молоток, поднимает бровь. В этом простом жесте вся его уверенность, привычка держаться

прямо, даже когда земля уходит из-под ног.

— Смысл? — повторяет он, усмехаясь. — Весь смысл в том, Захар, чтобы дать кому-то ощущение безопасности. Человек опустится на этот стул, перестанет испуганно держать спину и впервые за долгое время почувствует себя дома.

— Не все ищут дом.

— Зато все чувствуют, когда сидят на хорошем дереве. Это как прикосновение тёплой ладони. Ты это сделал.

Захар наконец поворачивается. Его глаза усталые, но чистые. В них нет ни злости, ни отчаяния, только тихая тревога человека, который слишком много вкладывает в своё дело, чтобы позволить себе равнодушие.

— А если я не смогу?

— Сможешь.

— А если никто не придёт?

— Тогда ты посадишь на свои стулья сны. Они, кстати, самые благодарные зрители.

Мужчины рассмеялись — редко такое бывает, но всегда от души. Их голоса заполнили тишину мастерской, мягко и плотно, будто ткань, брошенная на спинку кресла и скрывающая острые углы. Капли, глухо застучавшие с потолка в темноте, потеряли свою печаль. Теперь этот ритм лишь дополнял их настроение, делая его частью комнат и последней ночи.

— Девочки дома, наверное, уже чемоданы пакуют, — Арсений кивает в сторону двери, ведущей в небольшой кори-

дор. — Настя, небось, уже репетирует прощальную арию. А Илани, наверное, пытается уговорить свои игрушки поместиться в одну коробку.

Захар улыбается. Ему представляется эта картина: Настя, вся такая драматичная, с театральным жестом бросает в чемодан ноты, а Илани, сосредоточенная, как маленький генерал, пытается упаковать своего любимого плюшевого льва.

— Настя, конечно, актриса. Но Илани... она такая же, как ты, — задумчиво говорит Захар, снова касаясь зарубки. — Не любит спешки. Всё делает основательно.

— Да уж, — Арсений прислоняется к стене, обнимая себя руками. — А ты, Захарь, как всегда, «на потом». Сколько лет уже слышу про «потом». Надеюсь, в новом городе твое «потом» начнётся быстрее.

— Может быть, — Захар поднимается, отряхивая опилки с колен. — Может быть, в новом городе и я сам буду «потом» не так часто говорить.

Он в последний раз оглядывает мастерскую. Каждая доска, верстак и даже кружащаяся в воздухе пылинка словно говорят ему «прощай». Здесь он не просто трудился, жил, вырос, творил. И именно в этих стенах когда-то бегали его маленькие дочери.

— Ну что, Арсений, — говорит Захар, и голос его звучит уже увереннее, хотя и с ноткой грусти. — Поможешь мне с последним ящиком? Там самые ценные инструменты. Те, что достались от деда.

— С удовольствием, Захарь. Для тебя хоть на край света. И даже дальше.

Дождь всё так же шептал по крыше, но теперь его шёпот казался не просьбой, а тихим напутствием. Ведь даже в прощании есть своя новая дорога.

Пыль в комнате больше не танцевала в лучах солнца — солнце давно заблудилось где-то за плотным одеялом туч. Она просто оседала на картонных коробках, превращая их из обещания новой жизни в надгробия старой.

Настя сидела на корточках перед распотрошенным чревом старого шкафа. В свои шестнадцать она уже избавилась от подростковой угловатости: фигура у девочки была точечной, как у молодой актрисы или балерины — плавная линия талии переходила в красивые бедра, а спина держалась с той врожденной осанкой, которая появляется, когда тело привыкает к свету софитов. Кожа казалась почти фарфоровой в полумраке комнаты, создавая резкий контраст с тяжелыми темными волосами, падавшими ей на лицо густой, шелковистой волной. Но главным магнитом всегда были её глаза, огромные, влажные, цвета выдержанного коньяка, опущенные густыми ресницами. Взгляд мог быть по-детски растерянным секунду назад, а в следующее мгновение в нём вспыхивал опасный, взрослый огонь. На ней был мешковатый свитер с чайным пятном над левым локтем, пахнущий домом, который завтра станет чужим адресом. Пальцы ныряли в складки ткани, как в холодную воду.

— Дыши глубже, Настька, — раздалось снизу. Илани копалась под кроватью, откуда тянуло запахом старых лыж и засохшего пластилина. — Ты задерживаешь дыхание уже третий час. Так только привидения делают, а мы пока живые.

Илани было двенадцать, но выглядела она старше своих лет: вытянутая, длинноногая, с грацией молодого оленёнка, которому ещё непривычно управлять собственным телом. Метиска эфиопских кровей, она взяла от матери самую щедрую красоту: кожа глубокого, теплого оттенка горького шоколада с золотистым внутренним свечением, которое невозможно нарисовать. Оно шло изнутри; высокие скулы и пухлые губы. Волосы были заплетены в десятки тугих косичек, уложенных сложным узором по голове, украшенных деревянными бусинами. При каждом движении головы они издавали тихий перестук: синяя качнулась вперед — смелость, красная откатилась назад — гнев, желтая осталась ровно на макушке — свет. Из-под задравшейся штанины полосатого гольфа виднелась изящная щиколотка — ноги у девочки росли быстрее, чем успевали покупаться кроссовки.

Настя фыркнула, но выдохнула облачко пара.

— Я пытаюсь решить экзистенциальный вопрос: брать ли мне эти джинсы? В них я впервые поняла, что у меня есть колени. Это важная часть биографии.

Илани вынырнула, победно сжимая в кулаке одинокую розовую кроссовку. Вторую они потеряли три года назад во время «великой битвы с пельменями» на кухне.

— Бери одну. Вторая пусть остается здесь заложницей. Чтобы этот дом знал: если он будет нам сниться, то всегда хромым, — пошутила Настя.

Илани швырнула кроссовку в пустую коробку из-под телевизора. Та ударилась о дно с глухим звуком лопнувшего шарика. Настя поморщилась. — Не смей так делать. Каждая вещь здесь... она звучит. Слышишь? Вот эта куртка со стразами на спине кричит фальцетом. Помнишь кастинг в ТЮЗ?

— Как тут забудешь, — младшая сестра закатила свои огромные тёмные глаза, похожие на две капли застывшей смолы, бусины в косичках тихо звякнули, — ты стояла в ней, синяя, как утопленник. А режиссёр сказал, что твой голос похож на звук, когда вилкой скребут по тарелке.

Настя вытащила куртку. Стразы осыпались от старости, оставив на черной ткани бледные шрамы клея.

— Он сказал, что я звучу как несмазанная калитка. Но знаешь, что самое обидное? Калитка хотя бы знала, куда ведёт. А я тогда вообще не понимала, зачем открыла рот, — Настя прижала куртку к лицу, втягивая запах пыли и дешевого антистатика, — я оставляю её тебе. Будешь пугать ею грабителей. Или носить на Хэллоуин как костюм «Разбитые надежды».

Илани подошла ближе, села на пол, подогнув свои бесконечно длинные ноги. Из гольфа торчал край салфетки. Она вечно прятала там фантики или записки самой себе.

— Грабители разбегутся от твоего актерского мастерства.

А давай лучше сделаем ей похороны? Положим в самую маленькую коробку, перевяжем черными колготками, которые пошли стрелками, и напишем: «Здесь покойся вера Насти в Станиславского». Выкопаем ямку в горшке сдохлым фикусом. У него всё равно нет шансов, его убили ещё при прошлой власти.

Сёстры переглянулись. Уголки губ дрогнули одновременно.

— Шалость принята, — прошептала Настя.

Девочки торжественно, словно гвардейцы у гроба короля, понесли куртку к цветочному горшку. Фикус действительно напоминал гербарий. Вместе выкопали в сухой земле неглубокую могилу, уложили туда свернутый ком одежды, сверху положили две конфетные обертки фольгой вверх — «за заслуги перед искусством», и засыпали землей.

— Земля тебе пухом, талант, — всхлипнула от смеха Илани, — мы будем приходить к тебе каждую годовщину сдачи ЕГЭ.

Когда они вернулись к шкафу, тишина снова навалилась на плечи. Настя достала деревянную шкатулку. Рисунок двух девочек под деревом потускнел, выжженные линии забились грязью.

— Смотри, Лань, — она протянула сестре билет на автобус. Дата поездки в областной театр кукол была перечеркнута крест-накрест красным маркером. — билетов было два. Второй я сожгла в пепельнице. Сказала маме, что ты заболел.

ла. На самом деле я просто посмотрела на ту сцену, увидела этих деревянных болванчиков и поняла, что боюсь. До тошноты. Что однажды кто-то дёрнет за ниточку, и моя голова упадет набок.

Илани взяла билет двумя длинными пальцами. Повертела.

— Ты дура, — сказала младшая беззлобно, — болванчики классные. Им можно отрывать головы, и им за это ничего не будет. Свобода. — девочка спрятала билет в карман своего самодельного чемодана, — буду показывать своим новым одноклассникам. Скажу, что это пропуск в Нарнию для тех, кто боится быть деревянной куклой.

Настя опустила руку на дно шкатулки. Под слоями записок наткнулась на стекло. Синяя банка из-под детского чая. Наклейка, сделанная кривыми печатными буквами: *«ДЛЯ СЦЕНЫ 17. НЕ ОТКРЫВАТЬ. ВНУТРИ СТРАШНО»*.

Её пальцы замерли.

— Ты видела, — голос упал до шепота, стал шершавым, как наждачная бумага, — когда я приходила с прослушиваний. Где отказывали.

— Конечно, видела, — Илани пожала плечами так естественно, будто речь шла о том, чистила ли она зубы. От её кожи пахло земляничным мылом и школьным мелом, — ты думала, у тебя лицо устроено как сейф? У тебя же всё наружу течёт, только ты сама этого не видишь, потому что смотришь внутрь. Ты заходила, ставила банку за Достоевского, закры-

вала дверцу книжного шкафа и начинала громко петь "Оду к радости", чтобы все подумали, что ты железная леди. А потом ночью доставала её, капала туда по одной слезе — кап! кап! — и считала. Думала, накопишь целое море, выпьешь его на сцене и получишь «Оскар».

Настя закрыла лицо руками. Плечи затряслись не от рыданий, а от того стыдного, тихого смеха, который прорывается сквозь боль.

— Господи, какой нелепый ритуал. Мне шестнадцать, а я веду себя как обиженная пятилетка с пузырьками для ванны.

— Лучшие люди именно такие, — Илани подвинулась вплотную, прижимаясь теплым боком. Она сняла с волос желтую бусину — «для света» — и вложила сестре в ладонь, — оставь банку. Не бери её в новую жизнь. Пусть плачет здесь. Этому дому нужнее.

— Нет, — Настя решительно вытерла нос рукавом свитера. — Я заберу. Только переименую. Дай ручку.

Настёна порылась в школьном портфеле, нашла исчерканную вдоль и поперек тетрадь, вырвала лист. Поля были истоптаны синими чернилами, следы мыслей, ходивших босиком. Написала большими буквами: *«БАНКА ПЕРВОЙ СЦЕНЫ. НАЧАЛО»*. Обернула стекло.

— Теперь порядок. Первая сцена не может быть семнадцатой. Это плохая драматургия.

Илани кивнула и вдруг хитро прищурилась. В её глазах-бусинах заплясали чертята.

— Раз уж мы хороним вещи, нужно устроить диверсию. Пойдем, — она схватила сестру за руку и потащила в коридор. Там, прислоненный к стене, стоял рулон оставшихся обоев — блекло-голубых, в скучных ромбах. Илани зубами разорвала кусок скотча, — пока хозяева будут принимать квартиру, они сойдут с ума.

За минуту, хихикая и зажимая рты ладонями, чтобы смех не выдало эхо пустой квартиры, они расклеили обои прямо поверх входной двери изнутри. Закрыли наглухо.

— Всё, — пропыхтела Илани, сползая по косяку. — Они никогда не выйдут. Будут сидеть внутри, смотреть на ромбики и думать, что сошли с ума. Классическая готическая новелла.

— Нас проклянут риелторы, — простонала Настя, размазывая тушь под глазами от смеха. — Отлично. Проклятие от агентов недвижимости — лучшая защита от злых духов ипотеки.

Вернувшись в комнату, девушки увидели брошенные подушки. Старые, плоские, из которых лезло серое перо, как седая щетина.

— Дуэль? — предложила Илани, поднимая с пола плюшевую антилопу с одним ухом. В голове-тайнике антилопы что-то зашуршало. Сухие листья, которые они собирали прошлой осенью.

— Правила меняются, — Настя схватила свою подушку. — Побеждает не тот, кто свалит противника. Побеждает тот,

кто заставит другого сказать что-то настоящее.

Первый удар был мягким, пушистым. Перья взметнулись к потолку, закружились майским снегом.

— Я боюсь, что новая школа окажется картонной декорацией! — крикнула Настя, отбиваясь от атаки сестры.

— Признана годной! — Илани сделала выпад. — Мой ответ: я тоже! Поэтому мы принесем туда клей!

Они кружились по комнате, сталкиваясь лбами, хохоча до икоты. Подушки взрывались облаками домашней пыли.

— Я боюсь, что наш папа нас не узнает через год! — вскрикнула Настя, поскользнувшись на собственном сбившемся носке и падая на пол.

Илани рухнула рядом тяжело дыша. Настя перекатилась на живот, уткнулась лицом в пыльный ворс ковра. Рядом валялось перо. Она подняла его, провела по гладкой, теплой щеке Илани.

— Ланька... а если я там замолчу? Совсем? Если страх съест голос?

Илани поймала её руку, переплела их пальцы. Мизинцы сами собой нашли друг друга.

— Тогда я буду говорить за двоих. У меня запасного голоса на целую оперу. А если учитель скажет, что мои веточки в волосах — это мусор...

— ...то ты скажешь, что это ключи, — закончила за неё Настя.

— Именно. Ключи от направления. — Илани достала из

кармана своих штанов маленький синий маркер. Открыла крышку. — Давай подпишем этот день.

Она задрала рукав Настиного свитера. На тонкой коже предплечья быстро вывела цифры: 21.08. *Мы ушли смеясь.*

— Теперь официально, — Илани дунула на чернила. — Акт приема-передачи грусти подписан. Печать поставлена.

Настя смотрела на надпись, потом притянула сестру к себе, обвивая руками так крепко, словно пыталась уместить весь мир двенадцатилетней девочки в объятиях шестнадцатилетней.

— Королева леса, — прошептала она в макушку, пахнущую дождем и карамелью.

— Эхо, — сонно отозвалась Илани, сворачиваясь клубком у неё на коленях.

Смех стих. Остался только гул холодильника на кухне — старый, уставший зверь, охраняющий их последнюю ночь в доме, где стены всё ещё хранили тепло от наклеек, слёз и песен.